

АБСОЛЮТ НОН-ФИКШН





ВАСИЛИЙ
КЛЮЧЕВСКИЙ
КРАТКИЙ
КУРС
ПО
РУССКОЙ
ИСТОРИИ



Издательство АСТ
Москва 2024

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)
К52

Все права защищены.

Любое использование материалов данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается

Художественное оформление — Григорий Калугин

Ключевский, Василий Осипович.

К52 Краткий курс по русской истории / В.О. Ключевский. — Москва : Издательство АСТ: ОГИЗ, 2024. — 288 с. — (Абсолют нонфикшн).

ISBN 978-5-17-161134-7

Василий Осипович Ключевский — выдающийся русский историк, профессор Московского университета, академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук отделения русского языка и словесности, председатель Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете. Автор многочисленных трудов по истории, среди которых «Курс русской истории», «Боярская дума Древней Руси», «Происхождение крепостного права в России», «Сказания иностранцев о Московском государстве» и другие. С 1893 по 1895 год Василий Ключевский преподавал историю сыну императора — Великому князю Георгию Александровичу. Его лекции были очень популярны и среди студентов: он увлекательно рассказывал об исторических событиях, приводил неожиданные точки зрения, вовлекал слушателей в дискуссию и отвечал на все вопросы.

Книга «Краткий курс по русской истории» посвящена историческому развитию России с древнейших времен — расселения восточной ветви славян на будущей территории Руси и основания Русского государства — до начала XX века — правления Николая II и учреждения Государственной Думы. В ней ученый анализирует политические, экономические и социальные процессы, а также уделяет внимание культурным и религиозным аспектам. Василий Ключевский не ограничивает свой обзор только письменными источниками, он активно использует археологические данные, этнографические материалы и фольклор, что делает его исследование особенно ценным, всеобъемлющим и актуальным в любое время.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)

В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ КАК ХУДОЖНИК СЛОВА

«Почти три десятка лет этот великан, без малого трех аршин ростом, метался по стране, ломал и строил, все запасал, всех ободрял, понукал, бранился, дрался, вешал, скакал из одного конца государства в другой. Такую безудержную деятельность сформировались и укрепились понятия, чувства, вкусы и привычки Петра. Тяжеловесный, но вечно подвижный, холодный, но вспыльчивый, ежеминутно готовый к шумному взрыву, Петр был — точь-в-точь, как чугунная пушка его петрозаводской отливки...»

«Государыня Елизавета Петровна была женщиной умная и добрая, но женщина. От вечерни она шла на бал, а с бала поспевала к заутрене. Строго соблюдала посты при своем дворе, и во всей империи никто лучше императрицы не мог исполнить менуэта и русской пляски. Невеста всевозможных женихов на свете, от французского короля до собственного племянника, она отдала свое сердце придворному певчому из черниговских казаков. Мирная и беззаботная, она воевала чуть не половину своего

царствования и победила первого стратега того времени — Фридриха Великого. Основала первый настоящий университет в России — Московский и до конца жизни была убеждена, что в Англию можно проехать сухим путем. Дала клятву никому не казнить смертью и населила Сибирь ссыльными, изувеченными пыткой и с урезанными языками. Издавала законы против роскоши и оставила после себя в гардеробе с лишком 15.000 платьев и два сундука шелковых чулок...»

«На русском престоле всякие люди бывали, всяких людей он видал. Сидели на нем и многоженцы, и жены без мужей, и мужья без жен, и выкресты из татар, и беглые монахи, и юродивые, — не бывало еще только скомороха. Но 25 декабря 1761 года и этот пробел был заполнен. На русском престоле явился скоморох. То был гольштинский герцог Карл Петр Ульрих, известный в нашей истории под именем Петра III...»

Ровно сорок лет отделяют меня от тех часов в Большой Словесной аудитории Московского университета, когда впервые прозвучали эти характеристики из уст незабвенного Василия Осиповича. Густой и толстый слой пестрейших впечатлений налег за эти сорок лет на память, и потускнела под ним далекая отгоревшая юность. А между тем, даже не закрывая глаз, я как будто вновь слышу спокойно-иронический, слегка козловатый, звонкий и сиплый вместе, «духовенный» тенор, которым они произносились; как будто вижу спокойно-ироническое лицо с умным, пристальным, но ненавязчивым взглядом пронизательных глаз, склоненное с кафедры к замершей во внимании аудитории. Она, как всегда у Ключевского, конечно, битком полна слушателями,

нахлынувшими и с своих, т.е. филологического и юридического, и с чужих факультетов.

Мы, студенты первых курсов, увлекались Ключевским, обожали Ключевского. Однако сомневаюсь, чтобы многим из нас было тогда ясно все огромное значение нашего любимого профессора в исторической науке. Мы гордились тем, что слушаем общепризнанный научный авторитет, но принимали этот авторитет больше на веру, как аксиому, не требующую доказательств, и не он влек нас, толпами, внимать драгоценные *verba magistri*. Осмелюсь даже предположить, что из тогдашних слушателей и обожателей Ключевского большинство не удосужилось проштудировать ни его «Древнерусские жития святых, как исторический источник», ни «Боярскую Думу Древней Руси», ни вообще трудов, характерных для него как для тонкого исторического исследователя, одаренного в равной степени и проникновенным вдохновением интуиции, и острою силою поверочного анализа. Мы были слишком молоды и при всем таланте Ключевского как популяризатора слишком мало подготовлены среднею школою к тому, чтобы понять и оценить его с чисто научной стороны творчества. Это пришло позже и даже значительно позже. Зато едва ли не с первых же слов первой же лекции с кафедры Ключевского повеяло на нас живительным духом мощной художественности. Она говорила с нашими молодыми душами языком внятной и увлекательной убедительности, покоряла ум и воображение и манила нас к познанию связи событий прошлых и настоящих, как в изящной словесности «Капитанская дочка» Пушкина и «Война и мир» Льва Толстого, как в живописи исторические полотна И.Е. Репина, в музыке — композиции Мусоргского и Бородина.

Несмотря на то что первый обширный опыт русской истории, карамзинская «История государства Российского» написана большим, по своему времени, художником слова, художественность в русской историогра-

фии — редкая птица. И до последнего времени, я сказал бы даже, — птица гонимая. Карамзин — художник, но он не говорил, а вещал, не писал, а начертывал на скрижалях и создал риторскую традицию. Его преемники, ученики германцев, смешивали карамзинскую величавость и торжественность с тяжеловесным педантизмом немецких гелертеров. Писать историю важно, сухо и скучно — было обычаем, равносильным закону. Под гнетущее ярмо его покорно склоняли голову даже великаны художественной речи, не исключая самого Пушкина. Ключевский, которому принадлежит блестящая оценка Пушкина как историка, совершенно справедливо указывал на тот факт, что Пушкин по преимуществу был историком там, где не думал быть им, и не был им там, где думал быть. Ключевский убежденно утверждал, что в «Капитанской дочке», написанной между делом среди работ над пугачевщиной, гораздо больше истории, чем в «Истории Пугачевского бунта», которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману. Но этот сухой тон «объяснительного примечания» был тогда обязателен для автора, желавшего, чтобы его труд был принят ученым миром и критикою не как дар широкой публике для легкого чтения, но всерьез. Живость речи, образность изложения, драматическая яркость рассказа почитались смертными грехами. Николай Полевой едва ли не на этом, главным образом, проиграл возможный успех своей «Истории русского народа». В условиях несколько более счастливой вольности почитались «развращенные» французскими и английскими образцами еретики профессиональной историографии, западники, посвящавшие свои труды истории всеобщей. Но даже и из их числа о лучшем, о том, кто дал тон и приотворил дверь художественности в историческую науку, о Грановском, Некрасов впоследствии отметил, что «говорил он лучше, чем писал». И это не только потому, что «писать не вре-

мя было, почти что ничего тогда не проходило». А опять: даже такую эстетическую натуру, такую художническую голову, как Грановский, одолевал страх не оказаться бы слишком литературным в ущерб серьезности. Кудрявцев был не только историк, но и беллетрист, писал недурные повести, владел техникою художественного письма. В своих популярных «Римских женщинах» он довольно энергично, хотя и в чрезмерно статуарной красивости, пересказал живым языком несколько сильных эпизодов из Тацитовых Анналов. Но возьмите его «Судьбы Италии», возьмите его «Каролингов»: они писаны как будто другим автором, умышленно погружающим интереснейшее содержание в невылазную трясиину формальной скуки. Еще более выразителен Соловьев. Ключевский был его учеником и преемником по кафедре. Он благоговел пред памятью учителя и посвятил ему несколько прочувствованных речей и статей, в совершенстве освещающих значительную личность и громадный труд автора «Истории России с древнейших времен». Нечего и говорить о том, что Соловьев — фигура огромная, исключительная, и 29 томов его истории — вечный памятник, который хотя бы и ветшал частями, никогда не утратит своего значения совершенно. Но даже любви Ключевского приходится признать, что Соловьев имел «известность сухого историка». Ключевский защищал Соловьева от этого приговора, но с большим усердием оправдать любимого, чем с убеждением. «Это был, — говорит он о Соловьеве, — ученый со *строгой*, хорошо воспитанной мыслью. *Черствой* правды действительности он не смягчал в угоду *патологическим* наклонностям времени. Навстречу *фельетонным* вкусам читателя он выходил с серьезным, подчас *жестким* рассказом, в котором *сухой*, хорошо обдуманый факт не приносился в жертву хорошо рассказанному *анекдоту*... В его рассказе есть внутренняя гармония, историческая логика, заставляющая забывать

о внешней *беллетристике* стройности изложения». Мы смело можем отнести этот суд Ключевского к редким случаям, когда он, великий разрушитель исторически недвижимых традиций, сам делался жертвою традиции. Ведь в своей защите Соловьева он в 1904 году почти дословно повторил в пространство те же предрассудочные обвинения, что за сорок лет пред тем старозаветные полемисты обрушивали на Костомарова. *Включительно* до злополучного «фельетонизма», — этого ужаснейшего пугала, которым педантическое гелертерство искони застрашивает мысль, слово и перо молодых историков. И, к сожалению, успешно. Настолько, что уstraшенные им молодые дерзновения обычно к старости замирают и приносят покаяние, если не прямое, то косвенное. Возьмите к примеру Костомарова в его великолепных «Северных народоправствах», молодом труде, когда Погодин и другие староверы именно и попрекали его «фельетонизмом», и ругали его «рыцарем свистопляски», — и Костомарова в неудобочитаемой старческой «Руине». Что касается Соловьева, то я потому и позволил себе задержать на нем ваше внимание, что он, как бы ни заступался Ключевский, является совершенно исключительным героем самоотверженного засушения своего слова, в умышленном обнажении его от живой образности и картинного полета, хотя этот высокоталантливый и умный человек по натуре своей был к ним очень способен, как свидетельствует о том в своих ярких, выпуклых воспоминаниях В.О. Ключевский. Да и без свидетельств аскетическая выдержка Соловьева изумительна, но никакое насильственное воздержание не обходится без прорывов, и в безграничной степи «Истории России с древнейших времен» имеются изредка страницы-оазисы, обличающие, что бесхудожественности обуюл новыми сладкими искушениями даже и эту подвижническую душу и внушал ей иногда прекрасные незабываемые грехопадения, вро-

де хотя бы знаменитой характеристики «богатыря-протопопа Аввакума». Любящий ученик Соловьева, В.О. Ключевский, мог апофеозировать своего учителя, но не идти по его следам. Он весь — в художественности, весь — в ясном образе и метком и непогрешимо определенном слове, рождающемся естественно и своевременно из неисчислимо богатых запасов русского языка, изученного в совершенстве во всех его исторических периодах. Художник мыслит образами. Именно такова речь Ключевского. Она всегда строго логическая цепь образов, прямо вытекающих один из другого, в стройной последовательности художественного эпоса, проходящего, с одинаковой силой, гамму за гаммой разнообразнейших настроений. Он весь в предметном сравнении, в живописном параллелизме или антитезе. На пути этом он смел до безбоязненности истинного мастера. Сам он решительно не остерегался «фельетонизма» и «анекдотичности», за отречение от которых так восхвалил С.М. Соловьева. Тонкий и добродушный юмор типического великорусса расширял его художественный охват до огромной растяжимости, находя себе пищу и созвучия во всех веках и обстоятельствах тысячелетней русской истории. Недаром Ключевский много занимался Пушкиным и любил его. В нем самом жила та ясная и благожелательная полуулыбка, что так характерно сопутствует пушкинскому творчеству — особенно его позднейшей прозе, — «повестям Белкина» и «Капитанской дочке». К ним В. Ос. был полон родственным сочувствием. Вспомните хотя бы защиту им столь характерного для XVIII века типа «недоросля» против гениальной комедии-карикуры Фонвизина, которая навсегда слила для нас эту кличку с нелепым и смехотворным образом Митрофана Простакова. Защита эта (в речах Ключевского о Пушкине и в статье «„Недоросль“ Фонвизина»), на первый взгляд, представляется каким-то капризным парадоксом: до такой сте-

пени мы привыкли к одностороннему сатирическому внушению полуторавекового авторитета. Но Ключевский заставил нас заглянуть за завесу, которою сатирик задернул действительность обличенного быта, — и мы увидели с удивлением и с удовольствием, что за частною правдою обличения от нас скрылась, как лес за деревьями, другая, общая историческая правда, типа той частной правде почти что противоположная. Митрофан Простаков есть бесспорный Митрофан Простаков, но и только. Исторически он оказывается обобщением по недостаточному количеству данных. Он принадлежит к числу «недорослей», но «недоросль» — отнюдь не то же, что Митрофан Простаков. «В исторической действительности, — говорит Ключевский, — недоросль — не карикатура, не анекдот, а самое простое и всedневное явление, к тому же не лишенное довольно почтенных качеств. Это самый обыкновенный, нормальный русский дворянин средней руки». Почвенный слой сословия, оставшийся в стороне от шумной верхне-дворянской политики и гвардейских переворотов XVIII века. «Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительств, но решительно сделали нашу военную историю XVIII века. Это пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протоптали славный путь от Кунерсдорфа до Римника и Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Суворовых и Румянцевых. Хотите вы видеть настоящих житейских „недорослей“? Обратитесь к Пушкину». Один является в Петре Андреевиче Гриневе, невольном приятеле Пугачева, другой — в наивном беллетристе и летописце села Горюхина, Иване Петровиче Белкине... К обоим Пушкин отнесся с сочувствием. Недаром и капитанская дочь М. И. Миронова предпочла добродушного армейца Гриневу остроумному и знакомому с французской литературой гвардейцу Швабрину». «Историку XVIII века, —

заключает В. Ос., — остается одобрить и сочувствие Пушкина, и вкус Марьи Ивановны».

Подобных мнимо парадоксальных теорем, раскрывающих свою истинность чрез логическое доказательство, чрезвычайно много в наследии В.О. Ключевского. Я даже сказал бы, что это наиболее частый его авторский прием: озадачить читателя, привычного видеть на доске историографии закономерные традиции как бы шахматной игры, неожиданным ходом, который, на первый взгляд, является вопиющим преступлением против теории и, следовательно, обреченным на немедленное крушение; а затем, выиграв игру, доказать тем самым, что ход был не случайным, но лишь остроумно и вдохновенно найденным и глубоко обдуманым применением той самой теории, которой он, по видимости, противоречил, — однако ум творческий и оригинальный провидел в ней возможности, закрытые для ума ученического и подражательного. Мотивы к подобным смелым и удачным ходам у Ключевского часто похожи на внезапное озарение солнечным лучом забытого темного уголка, куда, по малой значительности его, никто не догадывался заглянуть, — а он, случайный луч, выявил, что там лежит клад. Об Евгении Онегине русская критика и история литературы написали и напечатали многие тома ценных комментариев, рассуждений, трактатов — психологических, эстетических, философских, публицистических. Все выпуклые места типа, казалось бы, освещены и исследованы, все его глубины измерены и разносторонне описаны или догадливо предположены. Но вот подходит к теме историк-художник Ключевский, обязанный произнести речь в торжественном заседании Общества Любителей Российской Словесности по поводу исполнившегося пятидесятилетия со смерти Пушкина (1887 г.). Он доволен случаем. О Пушкине ему, по собственному его признанию, «всегда хочется сказать слишком много, — всегда наговорить много

лишнего и никогда не скажешь всего, что следует». Но что же именно выберет он из неизмеримого богатства Пушкинских задач? Что — достойное Пушкина, своего собственного авторитета, важности поминальной даты и интеллигентной публики, собравшейся, чтобы услышать из уст любимого оратора, конечно, не заезженные и шаблонные хвалы общепризнанному великому мертвецу, но новые живые слова? Ключевский пробегает в своей огромной цепкой памяти «Онегина», зная его, конечно, наизусть. И ему не приходится идти далеко. Уже во второй строфе первой главы:

Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных —

четвертый стих, такой, казалось бы, незначительный, такой проходящий, такой житейски прозаический, оставливает внимание нашего художника... — Наследник всех своих родных?.. «Такой наследник обыкновенно последний в роде...» Значит, «у Онегина была своя генеалогия, свои предки, которые наследственно из рода в род передавали приобретаемые ими нравственные и умственные вывихи и искривления...» А ну-ка, посмотрим их... И вот из случайного луча света, упавшего на вырванный из строфы стих, родится один из самых стройных, логических и поэтических этюдов Ключевского — «Евгений Онегин и его предки»... Громадный диапазон осведомленности В.О. Ключевского о душе, языке и жизни русского человека во всех периодах его истории как бы уничтожал для его художественной приглядки время и пространство, позволяя ему открывать психологические сближения событий и характеров, разделенных целыми веками, часто, казалось бы, в непри-

миримой разности культур; а вот, однако, — доказывал Ключевский, — соединенных несомненно генетической связью, которую он и выяснял незамедлительно с неподражаемым мастерством. Я живо помню шепот удивления, зашелестевший по актовому залу Московского университета в публике пушкинского праздника 6 июня 1880 года, когда Вас. Ос. открыл нам, что первого русского Онегина звали, двести лет тому назад, А.Л. Ордин-Нащокиным. Что этот администратор и дипломат Тишайшего царя, делец и умница XVII века, подобно всем типическим сынам, внукам и правнукам своим, включительно до «последнего в роде», скучающего бездельно Евгения, был уже обречен трагикомедией существования «русского человека, который вырос в убеждении, что он родился не европейцем, но обязан стать им». Трагикомедии «типического исключения», как нашел в высшей степени меткое определение Вас. Ос. Трагикомедии смущать общество, и свое и чужое, как явление, стороннее и тому и другому, как «чужак опасный и печальный»: другой стих из «Онегина», полюбившийся Вас. Ос. в качестве руководящей нити.

Возьмем другой пример смелого сближения в веках. Одна из самых глубоких и содержательных статей Ключевского о русской литературе носит заглавие «Грусть». Посвященная памяти Лермонтова, она в особенности полна столь свойственным автору, озадачивающим мнимым парадоксализмом. Мы привыкли видеть в Лермонтове разочарованного поэта-байрониста, отрицателя, бунтаря, богоборца, небезопасного воспламенителя юных умов протестующим воплем мировой скорби. А Ключевский весьма хладнокровно докладывает нам: «Нет, это все вздор, научный мираж, оптический обман; напротив, произведения Лермонтова как раз чудесный педагогический материал для воспитания юношества. После старика Крылова, кажется, никто из русских поэтов не оставил после себя столько превосходных вещей,